

Воспоминания бывших фронтовиков я слышал в детстве во время посиделок в нашем доме, где собирались друзья отца — почти все они также были участниками войны. Конечно, они старались не врать, но, как часто случается у хороших рассказчиков, приукрашивали события, возможно, пересказывая то, что случилось не конкретно с ними, а с их боевыми товарищами.

Я в ту пору был школьником младших классов, лежал на теплой русской печке и, дыша густым табачным дымом, от души смеялся или, наоборот, с замиранием вслушивался в рассказы о фронтовых приключениях.

Часто мне приходилось слезать с печки и по просьбе собравшихся идти через дорогу к тете Клаве, продавщице, которая по вечерам продавала водку на дому. Одна бутылка стоила двадцать пять рублей тогдашними деньгами.

Я возвращался от тети Клавы, отдавал мужикам холодные с мороза бутылки. После некоторого характерного затишья и звяканья стаканов воспоминания о войне вспыхивали с новой силой...

## КОММУНИЗМ НА ВОЙНЕ

В 1967 году, сразу после окончания десятого класса, я поступил работать в редакцию районной газеты. Вместо автомобиля с начала 60-х годов тут средством передвижения была лошадь по кличке Майка. Ветеран войны Сапрон ухаживал за лошадью, летом запрягал ее в бричку, зимой — в санки. Особенно выручала она зимой. Запряженная в сани, она уверенно преодолевала снежные просторы района.

Сапрон сделался нашим общим другом. Это был спокойный гостеприимный человек. Мы с моим другом Лево́й, заведовавшим в редакции отделом сельского хозяйства, часто ходили к Сапрону в гости.

— Война — это коммунизм! — рассказывал Сапрон. — Там все общее: и хлеб, и патроны, и жизнь, и смерть. Денег на войне не требуется, они не для бойцов. Все, что нужно солдату, доставляется на фронттовую линию в натуральном виде...

Горькая правда войны, говорил он, состоит в том, что солдат несвободен, он не может идти, куда ему вздумается, окоп на передовой — это что-то вроде заключения, практически добровольного. Такая ситуация, если хорошенько о ней задуматься, может привести в отчаяние. Конечно, на войне, прежде всего, командуют и распоряжаются твоим телом начальники, но и душа твоя солдатская несвободна, она не может вспарить или просто помечтать — на войне душа замыкается сама в себе, она тихо выжидает: что с ней будет дальше. Душа на войне напряжена, даже в моменты отдыха она трепещет, потому как знает — ее в любой момент могут вырвать из тела.

«Я вижу весь мир наскрозь, до глубины — этот взгляд мне дала война!» — сказал однажды Сапрон.

В войне есть неразрешимая тайна, пытался рассуждать старый солдат. В войне есть что-то до сих пор неизученное, неживое, в ней заключен, сжат до предела какой-то злой космос. Военная дьявольщина, наваждение, возникает из века в век и, как ураган, набрасывается, прежде всего, на мертвые строения: бомбы рвут мосты, здания, курятники. Невольно подумаешь — велик, наверное, грех человека, если он так поступает с творениями рук своих! Руины красивых зданий, разбитые скульптуры, вывороченные с корнем деревья, ограды, столбы с паутиной проводов — все это после бомбежки дымит, покачивается, как живое, а ведь только что эти предметы стояли перед тобой в полном своем великолепии, жили таинственной жизнью рукотворных вещей. Но даже война не может уничтожить все вокруг — это не по ее кровожадным зубам. Что-то все равно остается, жизнь теплится и медленно, неуклонно возрождается в каждом разрушенном уголке.

Сапрону, крестьянскому парню, было жаль рукотворное величие городов, превращенных в горькое кирпичное крошево, пропитанное гарью взрывчатых веществ.

Поначалу он служил в разведке, затем душевно заболел, и командир отвел его на полевую кухню, определив помощником повара. Но и будучи кухонным солдатом, Сапрон ходил добровольцем в атаку. Повар Игнатых сердился, с неохотой отпускал помощника от полевой кухни. По душе была Сапрону рукопашная, в ней он забывался полностью. У него была старинная винтовка Мосина с трехгранным штыком, который он натирал толченым мелом до зеркального блеска, затем на этот штык он со всей богатырской силой на бегу насаживал врагов, хотя и сам несколь-

ко раз был ранен. После атаки заново почистил винтовку, смазывал, заворачивал ее в тряпку, клал в походную телегу с провиантом.

— Ты, дядя Сапрон, всегда был экзистенциалистом, — говорил мой коллега Лева, когда мы заходили в гости к конюху с бутылкой портвейна, чтобы «размягчить мозги», уставшие от написания статей о надоях и привесах. Сидели на деревянной скамье, слушали военные байки. Лева, на правах местного и философа, часто перебивал рассказчика репликами. — Война, дядя Сапрон, вывернула твою душу наизнанку. Все военные события теперь, спустя десятилетия, ты видишь в отрешенном от человеческого бытия величии. Войну ты сделал страшной сказкой своей жизни.

— Он большой, совсем чудной издался! — поддакивала жена Сапрона, подавая закуску. — Иной раз целый день слова не промолвит — все думает об чем-то...

— Молчи, глупая старуха! Лучше принеси нам еще бутылку самогонки... А вам, ребята, хочу сказать вот что: в своей сельскохозяйственной газете вы об этом не напишете, а именно о том, что одиночество — вся соль войны! На войне хочется побыть одному, но это почти невозможно. И в то же время ты в глубине души всегда один, и стараешься думать о доме, о жизни, но как-то не думается... Одиночество всюду с тобой, даже когда сидишь плечом к плечу с товарищем, готовясь к бою. Это даже не одиночество, но какая-то непреодолимая сила, отрывающая тебя от других людей, ты ждешь, когда же все это закончится. Иногда одиночество распирает грудь изнутри, будто воздух в нее туго накачивают, и тогда в мыслях своих ты воспаряешь, как теплый шар, в небо, словно впадаешь в беспамятство, будто улетаешь на время из окопа. А весь позорный смысл войны, грязь и кровь остаются на время в стороне.

— Зато радость от Победы была, наверное, очень большая? — спрашивал я.

— Еще бы! Я будто ожил, когда все это закончилось. Но завоеванная земля, ребята, все равно кажется странной и чужой. Это не твоя земля. Завоеванный край, даже когда там не стреляют, постоянно готовит тебе большие и мелкие пакости. Чуждый мир каждую секунду с ненавистью смотрит на тебя своими потаенными глазами... На войне друзья вокруг тебя — при всей их храбрости, надежности, открытости — временные, по сути, они фронтовые товарищи, с которыми рано или поздно придется расстаться, даже если некоторые из них останутся живы.

— Да... — протяжно комментировал его речь Лева. — Теперь я понимаю, почему тебя, дядя Сапрон, при всей твоей силе, из разведки перевели в помощники повара, у тебя психика не подкачала, ты гений одиночества, экзистенциалист, задумавшийся на фронте о жизни и смерти, а на войне об этом думать, как я полагаю, нельзя.

— Ты, паренек, в штыковую не ходил, поэтому о войне рассуждаешь издалека, и вообще ты еще молодой, хоть и работаешь в газете. Штыковая — это песня смерти на высоком голосе, когда трудно понять, кто кого силится убить — он тебя или ты его. Рукопашный бой — это когда все тонет в зверином реве, это песня глубокой древности... Талант разведчика в бесстрашии и гордости от сознания, что он, уходящий в ночь, не такой, как все... — тихо говорил Сапрон после очередной стопки за мир во всем мире. — У разведчика в душе появляется смутное наслаждение войной, она для него становится чем-то вроде игры, в которой он или несколько раз выиграет, или один раз бесповоротно проиграет. Вот я и проиграл, только не фактической смертью или пленом, просто вдруг душа сорвалась

с места, и я душевно заболел... Меня и перевели ближе к кухне, добрый командир привел меня к повару и сказал — вот тебе помощник!

— Вы говорите о войне как о глубоком дне ада... — пожал плечами Лева. — Я, наверное, не смог бы выжить на войне, или жил бы в каком-нибудь постоянном оцепении, как во сне... Если бы не твоя хорошая самогонка, я бы не смог тебя слушать, дядя Сапрон. Тяжелые вещи ты нам говоришь.

— Самогонку он сам гоня, из чистого сахара! — объяснила старуха с гордостью.

Ладони у нее были грязные — она только бросила полоть огород, чтобы послушать, о чем мы тут «балакаем». Да и сама, как бы между прочим, пропустила пару стопок. Бабка объяснила, что Сапрон картошку тяпать не любит, потому что на него находит дурь, он видит себя со стороны мертвым солдатом.

— А ты слухай и записывай у свою книжечку! — говорила она мне, подмечая, что я открыл блокнот. — Ведь ты же кариспангент! — И с улыбкой грозила блестящим от налипшей земли пальцем.

А меня от смеси портвейна и самогонки развезло, рука выводит на бумаге каракули. Приходится напрягать внимание и слушать ветерана просто так — все равно интересно! Мой блокнот исписан цифрами надоев и привесов, я приглаживаю разлохмаченные страницы, чуть влажные от самогонки, думаю о чем-то далеком.

## ПАТЕФОН

В разбомбленном доме бойцы нашли патефон, несколько пыльных пластинок уцелело на этажерке, обгоревшей с одного бока. У конвертов пластиночных также были прихваченные огнем разбахромленные края, сам патефон с одного боку был закопченный, прогорел до видимой прозрачной дырки. Однако он работал!

Бойцы берегли его, во время бомбежек и артобстрелов укрывали тряпками. А когда начиналось затишье, солдаты приносили патефон на передовую и заводили его.

Немцы тоже слушали музыку — у них патефона не было. Когда аппарат замолкал, из-за колючей проволоки раздавалось:

— Иван, давай Вольга-Вольга! Вольга давай!

Солдат вновь осторожно ставил иглу на пластинку про Волгу, про Стеньку Разина, про то, как он бросает в Волгу княжну.

Немцы слушали, подпевали на свой лад.

И наши тоже подпевали. И получается замысловатый солдатский хор, отзывающийся в змеевидных окопах, а затем и в горизонте грустным эхом. Сотни тоскующих, искаженных расстоянием голосов. Два разных языка сливались в странный один, в котором все понятно без слов.

Наш Сапрон, как он рассказывал, тоже подпевал — петь он любил именно в хоре, но в одиночку никогда не пел, потому что не имел слуха.

Немцы, однако, угадывали могучий, гудящий вразнобой бас: Гросс-Иван поет!

— Гросс-Иван, вставай! Мы есть слушать, мы не стрелять! Э, Иван... Мы хотеть слушать!..

От этой песни про далекую и чужую для него Волгу плакал антифашист Гюнтер. Казалось бы, какое ему дело до Волги, которая осталась далеко позади, а тем более до Стеньки. Гюнтер — перебежчик, служил в

штабе переводчиком, имея солдатскую, не по росту, шинель, на голове пилотка без звездочки.

Сапрон, завидев слезы на конопатом морщинистом лице, подходил к нему:

— Не плачь, Гюнтер, я тебе на ужин две порции каши дам... И тушенки погуще навалю!

Немецкий коммунист, тощий по природе своей, всегда ел мало, хотя повар и Сапрон старались его подкормить, ведь Гюнтер антифашист и свой в доску парень. От него польза на войне очень большая. Иногда повар Игнат просил Гюнтера дать название простых вещей на немецком языке: «хлеб» — «брот», «лес» — «вальд», и удивлялся, зачем на свете выдуманы лишние языки? Хватило бы и одного русского на весь земной шар! Ведь он такой понятный, этот русский, такой сочный, заковыристый. Можно сказать так, а вывернешь словечко, и получается этак!..

Гюнтер по приказу наших командиров, когда переставал играть патефон, выползал на передовую и через металлический рупор выкрикивал в немецкие окопы на родном языке свежие сводки Информбюро, предлагал немецким солдатам сдаваться в плен — так путь домой для них будет короче.

Гюнтеру разрешали спать, сколько он хочет, чтобы переводчик восстановил силы для выкрикивания речей.

Сапрон по утрам приносил ему банку тушенки и плитку шоколада — Гюнтер категорически отказывался от допайка:

— Я сражаюсь за идею, я — немецкий коммунист! Я пытаюсь убедить свой народ в том, что он был не прав, когда по указке Гитлера пошел завоевывать Россию и другие земли. Мы, немцы, здесь погибнем на этой вашей таинственной и огромной земле. Все до одного!.. Напрасно мы сюда пришли, ох напрасно, комрад Сапрен!..

— Почему же весь народ-то твой в этом деле не прав? Знать ему, твоему народу, все ж таки захотелось сюда пойти? — допытывался бывший разведчик, теперь помощник повара. И понимал, почему его самого из боевой профессии разжаловали почти что в мирное дело — варить кашу, разламывать на дрова ненужные сараи: он относился к убиваемым врагам как к живым людям, однако мощная богатырская рука его со временем стала, как он сам выражался, «дрогать».

Гюнтер смотрел на него синими блестящими глазами и молчал.

— А почему «все до одного» погибнут? — не отставал Сапрон. — Ведь кто-то и уцелеет.

— Потому что убьется душа немецкого народа, и он, народ, почувствует свою вину за участие в огромном массовом убийстве, которое называется войной.

— Нет, брат Гюнтер, хоть ты и хороший человек, но я скажу тебе свою правду: это не ваш народ гибнет, а наш... — вздыхал Сапрон. — Вон сколько людей положили фашисты по всем странам. Каких золотых ребят уничтожили... Это вы не поняли, когда надо было, что идете неправедным путем! Это вы, простые люди, все вы со своим подлым Гитлером ранили Россию в самое сердце, вы убили ее!..

Сапрон, сам того не замечая, переходил на мощный рык, тряс Гюнтера за грудки, приподнимая его, легкого как ребенка, от пола.

В землянку вошел лейтенант СМЕРШа и сказал: «Отставить!..» Он забрал у Сапрона тушенку, шоколад, велел идти на кухню и никогда больше не разговаривать с ценным агентом на посторонние темы.

В Гюнтера прицельно стреляли с той стороны, за ним охотились минометчики, артиллеристы и снайперы. Жестяной рупор, через который он говорил, был дырявый от снарядных осколков. Гюнтер был осторожен, часто менял позицию. Выкрикнув одно предложение, переводчик перемещался на другой край бруствера.

— Гитлер капут! — заканчивал Гюнтер чтение очередной листовки. Затем он вместе с рупором уходил в землянку — отдышаться, написать письмо родным. Неотправленных писем у него скопилось целая пачка. Вскоре Гюнтер погиб — подцелил его таки немецкий снайпер.

## ДЕСЯТКА

Иногда на привале Сапрон доставал из кармана завернутую в обычную бумажку десятку — эти деньги дала ему на дорогу мать, а он десятку не потратил, сберег зачем-то... Так получилось, что это стала и не десятка вовсе, а память о доме, о довоенной жизни, которую красная бумажка с профильным портретом Ленина теперь хранила вместе с прикосновением материнских пальцев.

Во время привалов и в свободное от боев время к Сапрону подходили другие бойцы и тоже смотрели на эту купюру, просили поддержать ее в руках, словно эта стертая на сгибах десятирублевка и для них была неожиданной весточкой из мирной жизни. На фронте деньги не нужны, здесь все бесплатное... Солдаты осторожно щупали грубыми пальцами эту денежку как остаток мирной жизни, десятка казалась розовой бессмертной бабочкой, залетевшей вдруг в длинные змеистые окопы. Пощупав десятку, солдаты возвращали ее Сапрону, вздыхали, понимая, что мирная жизнь потеряна надолго, и никто здесь, на передовой, не знает, когда он вернется домой, и вернется ли вообще. Фронтные друзья наперебой тербели, гладили купюру, никто не предложил ее потратить, а тем более пропить, хотя каждый вслух прикидывал, что бы он мог купить на эту десятку в мирное время.

У каждого с собой был какой-то предмет из дома, своего рода талисман: крохотная иконка или еще что-нибудь. Почти у каждого была фотография семьи, любимой девушки. У некоторых были обереги — разные штучки, наколдованные деревенскими вещуньями. И у Сапрона тоже был талисман, по-деревенски он назывался «заговор». Как и другие солдаты, Сапрон молчал о своей тайне и никому свой оберег не показывал. Перед отправкой сына на фронт, мать позвала во двор деревенскую колдунью Пияху, которая отрубила голову курице, надергала из куриной шеи пучков перьев, окропила их свежей кровью домашней птицы. Влажно-алый пучок слегка подсушила, перевязала суровой ниткой, вложила в маленький матерчатый кисет с узорчатой вышивкой, сказала, что этот «заговор» будет «отгонять» от Сапрона смерть. Велела положить кисет на дно котомки и никому не показывать, даже близким фронтовым товарищам.

Так и пролежал всю войну на дне вещевого мешка кисет с куриным пухом в черных крупинках засохшей крови — надо было по колдовской инструкции перед боем бросить из окопа две-три пушинки вперед, и тогда уже смело идти в бой. И тогда непременно останешься живым!

Никакого пуха Сапрон не разбрасывал, заклинания, которые ему велела запомнить Пияха, забыл. Однажды развязал эту тряпицу, из нее противно завоняло, однако не выбросил, положил обратно в мешок. И все

же он чувствовал, что у него с собой на войне есть всегда что-то необыкновенное, почти волшебное.

А десятка сама собой — ее разглядывали, вздыхали. Чтобы она не портилась, Сапрон заворачивал ее в бумажку, сберегая от грязи.

Один солдат мечтал после войны купить на всю десятку газированной воды и пить, пить, пить... Потом этот же солдатик украл десятку у спящего Сапрона, полагая, что эта десятка помогает великану избежать смерти, положил купюру в левый нагрудный карман. В следующем бою этому солдату пуля угодила в грудь, в то место, где лежали деньги. Сапрону принесли его десятку — она была с дыркой, слиплась, вся в засохшей крови. Он даже в руки не стал ее брать, велел закопать в землю — так надежнее...

## ГЕОРГ ВИЛЬГЕЛЬМ ФРИДРИХ КЛЯЙН

Во время январского боя Сапрон во время боя отстал от своего обоза, забрел утром в незнакомую деревню, только что отбитую у немцев. Шел по зимней хрусткой тропинке, горевал, что его комиссовали из разведчиков: нервы на минуту сдали, он не смог убить часового, рука «дрогнула», отряд разведчиков отступил с потерями...

Шел по заснеженной тропинке, по привычке разведчика поглядывал по сторонам в надежде увидеть затаившегося врага, а по новой поварской привычке присмотрел покосившийся плетень — дрова для полевой кухни.

Вот обледенелый колодец и такое же обледенелое ведро, лужица воды на круглом ледяном дне. Сапрон наклонился, попил — вода казалась теплее окружающего воздуха.

Солнце заливало все вокруг ослепительным январским светом. Снег в часы утреннего затишья был такой яркий, что фигурки детей, вышедших покататься на горку, казались черными шевелящимися комочками. Детям было весело, они месяц прятались в погребах, боялись фашистов.

Стекла домов заплыли льдом, кое-где были протоплены «глазки», но в них никто не выглядывал.

На заснеженном поле валялись трупы солдат, в основном немцев, которых не успели убрать. Сапрон обратил внимание на невероятные позы мертвых, которые, казалось, хотели что-то сказать жестами закояненных рук. Сгоревший танкист торчал из люка машины, воздевая сгоревшие руки к небу, валялись искореженные стальные обломки, похожие на тряпки. Пролетел шальной снаряд, лопнул над заснеженным выгоном огненным, с копотным черным дымком, превратившимся в алый шар. Ребятишки не испугались, они продолжали кататься с горки на каком-то странном предмете. Солдат разглядел, что дети ездят с горки на окоченевшем и заледенелом трупe немца, шуршала по льду длиннополая шинель. Сапрон рассердился, отобрал у детей труп: негоже так поступать с мертвецом, даже если это враг!

— Дядя солдат, убей его, если Ганс вдруг отживеет! — кричали наперебой мальчишки. — Фашисты по нашей деревне стреляли, дома поджигали, дедушку моего убили, мамку ссильничали!..

— Без вас знаю, пострелята, что мне с ним делать... — проворчал Сапрон. — Я их уже много убил, уморился, теперь вот кашу варю, наших солдат кормлю...

— Дай нам за него хоть сухарик.

— А вот вам гостинец! — Сапрон вынул из вещмешка банку тушенки и несколько сухарей.

Дети обрадовались, похватали еду, тотчас принялись ее делить.

— А что у вас санков нету, что вы на человеке катаетесь?

— Нету. Отступление было — все санки народ забрал, а мы тут некоторые остались... А это разве ж человек — это Гитлер недобитый!

Сапрон махнул и не стал больше с мальцами разговаривать, в каждой освобожденной деревне одно и то же: голод, разруха, страх перед войной. Он поднял заколяневшего фрица на руки, как дитя, отнес его в брошенный дом, показанный ребятишками, положил на дощатую, застеленную тряпьем постель, сложил ему руки на груди — а вдруг человек живой? Если помер, Сапрон сдаст покойника похоронной команде, как только та появится здесь.

Печку топил соломой, сдернутой с полураскрытого сарая, разломал остатки плетня, дощатый бок сарая выломил. В широкой горловине русской печи бушевало пламя, варилась в котелке пшенная каша, заправленная тушенкой. На столе пара ломтей хлеба, лук, соль. И фляга трофейного спирта, Сапрон несколько раз глотнул из нее. Ему вдруг почудилось, что немец шевельнулся.

«Он, наверное, не убитый, а просто контуженный, и замерз...»

Солдат подошел к лежащему, раскрыл ему рот, затем, надавливая на холодные небритые щеки, влил в немца немного спирта.

Человек захрипел, закашлялся, глотнул, задохнулся от жгучей жидкости, открыл белесые, с синевой глаза.

— Да ты, оказывается, братец, живой! — обрадовался Сапрон. — Хоть ты и немец, а все равно веселее ночевать.

Солдат растер спиртом обмерзшие ладони и ступни немца, они не успели почернеть. Немец обрадовался, что он жив и наконец-то в плену — война для него кончилась, есть шанс вернуться домой.

— Я...я! — с хрипом повторял он.

— Да вижу, что ты! — ворчливо поддакивал Сапрон. — Радуйся, что я тебя забрал, а то бы ребятишки целый день на тебе катались. Они, дети-то наши, не злые, просто им развлечение требуется, а у них даже санок не осталось... Я тебя покормлю, а завтра отнесу в госпиталь, там тебя будут лечить. Так что все зер гут!

— Гут, гут! — радостно шептал немец.

Сапрон принес теплый котелок с остатками каши, покормил больного с ложки. Немец поел, и разведчик переложил его на печку, на теплые кирпичи, сам лег на расшатанный деревянный топчан.

Наутро доставил Георга — так звали немца, — в госпиталь, написал на клочке газеты записку, сунул немцу в ладонь: «Сапрон, полковой повар, бывший разведчик из деревни Тужиловка от Орла девяносто километров». И дал Георгу этот клочок на память.

— Вспоминай, брат, кто тебя спас! Я хоть не Христос, но покойников оживлять умею... — И потрогал кисет с деревенским оберегом, хранящийся в нагрудном кармане гимнастерки.

...После войны, уже в 60-е годы, Сапрон, работавший в колхозе пастухом, получил письмо от преподавателя философских наук Георга Вильгема Фридриха Кляйна — тот приглашал его погостить в Берлине, где он жил и работал в университете.

Сапрон взял отпуск и после Октябрьских праздников поехал в ГДР. Бывший фронтовик не узнавал места, где когда-то воевал, Берлин и вов-



се показался ему чудесным городом, восставшим из пепла. На вокзале его встречал Кляйн: он стал еще более мелким от старости человеком, седым и тощим. Однако он был в шляпе и с тростью, и вовсе не был похож на того несчастного обледенелого немца, которого разведчик спас в сорок втором году. «А шляпа-то как у нашего председателя! — подумал колхозный пастух. — У меня такой нету...»

Они поехали в пригород Берлина, где у Георга был небольшой красивый особняк. Везде чистота, аккуратность... Для Сапрона была приготовлена отдельная комната, обедали всей большой семьей в просторной столовой, подавали хорошие харчи, Сапрон почему-то стеснялся пить коньяк из маленьких рюмок, казавшихся в его богатых пальцах совсем крохотными.

Георг расспрашивал о том, как Сапрону живется и работается в России. Гость рассказал, что считается лучшим пастухом в колхозе, одно время подменял заболевшую доярку, он в передовиках, ему дали медаль за труд, возили на ВДНХ...

Немецкие друзья с почтительным вниманием его слушали, кивали головами, Георг, изучивший к тому времени русский язык, переводил. Сапрон волновался, пил шнапс небольшими глотками, боясь напиться и опозорить свою страну. Но все-таки не выдержал и попросил налить ему коньяка в бокал, Георг улыбнулся, кивнул, выполнил просьбу гостя. Сапрон выпил полбокала, граммов сто пятьдесят, и наконец-то ему полегчало, он расслабился, заулыбался, начал разговаривать на разные темы.

Преподаватель философии, выпивший за компанию с Сапроном четверть большого бокала, наоборот, загрустил, глаза его покраснели, наполнились слезами. Георг вдруг вспомнил, как в сорок втором году, зимой, накануне своей контузии, он разговаривал с русской старухой, как раз перед очередным наступлением русских. Он ночевал в ее хате и ранним утром, перед боем, не выдержал и заплакал, показывая грязным пальцем на черные иконы, перед которыми горела, раскачиваясь от взрывов, лампадка, заправленная какой-то горючей смесью: «Матка, помолись за меня!»

Глаза старухи наполнились слезами, она, видимо, вспомнила о своих погибших на фронте сыновьях и сказала Георгу:

«Спаси Господи тебя, идола грешнава!..» — и перекрестила Георга дрожащей темной рукой.

А он в ответ произнес твердым солдатским голосом: «И тебя, матка, Он пусть спасет!»

Бабкина молитва, действительно, уберегла от смерти и Георга, и бабку — в то утро какой-то факельщик, пытаясь поджечь старухин дом, сгорел возле бабкиного плетня от собственной канистры с бензином, выскользнувшей из его рук во время взрыва...

Спустя год Георг тоже приехал к Сапрону в деревню, на него смотрел местный народ:

— Немец приехал! Настоящий немец! Он с нами воевал, а Сапрон его спас...

Затихла гармошка. Деревенские с интересом смотрели, как из городского такси выходит седой человек и, сняв шляпу, кивком головы приветствует людей. Несколько дней Георг гостил в домике колхозного пастуха. Все это время он разговаривал с местными жителями, интересовался колхозными делами, удил в местном пруду жирных карасей, выпивал потихоньку качественную Сапрону самогонку.

Сапрон долго думал, что же подарить на память Георгу, и был очень

огорчен, что никаких замечательных вещей у него дома нет. Ведь Георг в Берлине подарил ему много разных сувениров... И тут сосед подсказал:

— Да ты же, Сапрон, у нас скульптор по дереву! Вот и подари ему какую-нибудь свою гениальную деревяшку!..

Сапрон на это лишь рукой махнул:

— Разве я скульптор? Зимними вечерами строгаю из дерева раскоряченные фигурки... Мой немец — человек культурный, образованный, его простой фигуркой не проймешь!

— А ты не бойсь, подари! — настаивал сосед. — Немцы — народ сурьезный, оне смеяться не будут... Ты вот меня чудного изобразил, вся деревня смеется над моей скульптурной хвизиономией... Но я на тебя за этот портрет не обижаюсь. Я там хоть и чудной получился, но зато видно, что сам себе на уме русский человек!.. Интересно, што твой немец про меня скажет?

Деревянные фигурки, вырезанные рукой пастуха, представляли собой подражания известным памятникам, которые Сапрон видел на фото в газетах, а также скульптурные портреты односельчан, вырезанные с натуры и по памяти. Бюсты у него часто получались такими уродливыми, что деревенские люди, узнавая себя в этих фигурках, порой всерьез обижались на художника-самоучку. Хотя и поражались непонятному паразитическому сходству. Некоторые из них мысленно произносили: «Я получился как живой, настоящий, и в то же время удивительно смешной и карюзлый?»

Сапрон подвел немецкого гостя к самодельным полкам, где стояли фигурки, отдернул пыльную штору.

Георг обомлел: «Даст ист шон!..»

И вдруг заметил сравнительно высокую, с полметра ростом, фигурку женщины с неестественно разинутым ртом. Рот ее был открыт как-то наискосок и оттого казался страшным. Это была копия гигантской скульптуры Богини Победы, установленной на Малаховом кургане, где когда-то Георг и Сапрон воевали по разные стороны фронта. Деревянный, грубо выструганный меч словно бы наискосок рубил воздух в затхлом чулане. Георг вдруг дико закричал, попятился, глядя в гневные до выпуклости глаза женщины.

— Не бойсь, это мои деревяшки! — успокоил гостя Сапрон. — Если не брезгуешь, бери любую, дарю!

Георг осторожно взял с полки искаженную грубым резцом статую Богини, и весь день, словно ребенка, не спускал ее с рук. А вечером оба старика сидели в саду у костра и потихоньку плакали.

Георг Вильгельм Фридрих Кляйн оставил на память Сапрону свою философскую книгу, но тот уже никогда не сможет ее прочесть. И не только потому, что книга написана на немецком языке, но потому, что очень уж толста. Не осилить, не успеть...

## КИНО

Приехала на фронт передвижка, экран под небом, на фоне леса фильм про Чаплина, который в то время был ужасно похож на Гитлера. Этот киношный Гитлер играл глобусом, как мячиком, а мячик возьми да и лопни.

— Почему у них, у гадов, затеявших войну, усы одинаковые? — спросил кто-то.

— У кого это?

— У Гитлера и у прочих?..

— Чаплин войну не затевал, он артист... — пояснил солдат из знатков. — У «прочих» вождей теперь мода на такие гитлеровские усики, но скоро этой моды придет крадец, а самого Гитлера я лично подниму на штык...

На экране показали огромную пушку, она стрелять не могла, ее испортил Чаплин, но и по Ленинграду она сделать ни одного выстрела так и не смогла — что-то в ней постоянно ломалось, техника протестовала против массового уничтожения ленинградцев.

Показывают на экране настоящего Гитлера — это уже совсем кинохроника. Он говорит, переводчик за кадром переводит резкие дерганые слова: «Ленинград мы не штурмуем сознательно, Ленинград выжрет самого себя...»

Фюрер благодарил солдат за создание невиданной в истории блокады.

— Говорят, Гитлер был раньше художником... — сказал кто-то из зрителей.

— Ну и что? — задумчиво спросил Сапрон.

— Если бы он был настоящим творческим художником, он бы приехал на фронт и нарисовал бы все, что здесь происходит. Художнику бывает порой стыдно за людей. А у Гитлера никакого стыда... Он не только не художник — он не человек!

— Пусть приезжает, мы сами здесь его изрисуем...

— Говорят, Гитлер никогда не смотрит людям в глаза... — продолжал знающий солдат.

— Зато они на него смотрят! Простые люди смотрят на него и не могут простить.

Голос из-под кроны раскидистого тополя:

— Товарищи, не мешайте смотреть фильм!

На экране немецкий офицер зачитывал инструкцию Генштаба германской армии, переводчик за кадром с иронией в голосе переводил:

«Каждый родившийся в 1941 году мальчик может стать в 1961 году солдатом...»

Звучала клятва десятилетних немецких детей:

«Перед лицом Господа Бога клянусь беспрекословно повиноваться фюреру...»

— Они растят новых безжалостных воинов! — воскликнул кто-то из зрителей. — Куда же смотрит немецкий пролетариат? Почему он не протестует?

Зашевелились, закашляли фигуры, почти не видные на туманной от табачного дыма поляне.

## НА БЕРЛИН!

В столицу бывшего немецкого рейха текли ручейки возвращавшихся беженцев, они везли в колясках тачки со скарбом, несли тюки, корзины, мешки.

Сапрона удивляла гладкость германского асфальта, посеченного местами осколками снарядов, кое-где пробуравленного воронками. «Вот бы и нам в деревню такой асфальт!»

Солдат пытался вспомнить, сколько вырыл за всю войну окопов: зем-

ля ведь кажется вечной, когда ее копаешь или пашешь, в это время ты и сам в нее будто стремишься, вползаешь сантиметр за сантиметром.

...Полевую кухню обгоняют машины, солдаты с грузовиков и бронетехники кричат что-то озорное гиганту в мятой пилотке и со старинной винтовкой за плечами, шагающему рядом с парящим котлом. Норюват крикнуть что-то обидное вислоусому грустному повару, сидящему с вожжами в руках на облучке. Игнатыч опустил голову на грудь, ни на что не обращает внимания, думает о чем-то своем. Усы его желтые от табака, нос красный, как помидор, от хорошего спирта, который Игнатыч прибегает для себя и нужных людей.

Дорога, ведущая к Берлину, переполнена советскими и американскими грузовиками, самоходками. Лязгают гусеницы, режут моторы, все это перекрывается время от времени звонким русским матом. На обочинах разбитая техника, некоторые машины еще дымятся. Везде указатели и надписи на русском языке, и это радует — тебя здесь ждут!

На Сапроне потертая гимнастерка, залатанная на рукавах кусками зеленого немецкого плюша, оторванного от кресла.

Сумасшедший нищий немец поет на своем языке какую-то заунывную:

«Мы пройдем через русские степи...» — перевел слова Игнатыч.

— Какие еще степи? — удивляется Сапрон. Оказывается даже здесь, в Европе, тоже есть юрдивые. — Чего они забыли в наших степях?

Игнатыч молчит.

## САЛЮТ

Ночью, когда Сапрон стоял на посту у полевой кухни, прибежал солдат из штаба разведки, крикнул:

«Все, капитуляция!..»

— Что такое «капитуляция»? — спросил Сапрон, хотя до этого несколько раз слышал это слово в разговорах солдат.

— Победа, чудак! Мы победили! Ура!

— А-а... — протянул Сапрон, продолжая нести караульную службу. — Так бы сразу и сказал! А то какая-то «капитуляция»! Мы победили — это понятно! — И вдруг не своим голосом басовито и тихо повторил, почти прошептал. — Ура!..

Пробежал другой солдат с котелком, в котором плескался спирт:

— Хочешь хлебнуть?

— Нет, я без вина пьяный, — ответил Сапрон.

— Тогда хоть пальни из своей трехлинейки! Не поржавела она у тебя?..

Сапрон снял с плеча любимое ружье с начищенным до блеска штыком, передернул затвор, выпалил в черное звездное небо. Хлопок одинокого выстрела почти не слышен на фоне треска автоматов и всеобщего шума, гулом разливающегося над чужой непонятной землей. Сапрон вдруг подумал об ушедшем для него счастье боя, которое он иногда испытывал. Изредка он по своей охоте ходил в рукопашную, вытягивая вперед старинный длинный штык, и теперь, посреди внезапно наступившей мирной ночи, ему казалось, что проткнутые в окопах чужие жизни как-ким-то волшебным образом перетекают в него, ворочаются в нем, а он им в ответ бурчит всеми своими кишками, толстеет на глазах, словно наддуваемый пузырь.

По реке в предрассветной мгле медленно плыли немецкие виселицы — одна, вторая, третья... Синие лица людей, повешенных за какие-то провинности Гитлером, все мертвецы не пожилые, не старые, а какие-то средние, бывшенемецкие. Казнь, как говорят, была устроена фашистами для устрашения своих, не желающих до конца воевать за Германию.

— Простые гансы и фрицы не хотели идти на войну от своих семей, но если бы они не пошли, их расстреляли бы тыловые гансы и фрицы... — размышлял Игнатыч, с тоской оглядывая панораму реки.

— А может, они все-таки хотели идти на войну? — предположил Сапрон.

— Как на нее не пойдешь, если она война? — теребил Игнатыч обвисшие усы. Повар обернулся к Сапрону морщинистым, будто каменным лицом. — Ты ведь с охотой пошел?

— Не только с охотой, но и с задором, я был уверен, что одолею немца, какой бы он мне не встретился на пути в Берлин!

— А как же ты уцелел? — спросил повар. — Ведь ты был разведчиком почти три года... И даже когда был моим помощником, часто в рукопашную ходил добровольно со своей неизменной трехлинейкой... Вон как штык-то до сих пор блестит! Мне и после победы боязно на него смотреть... Спрятал бы ты его в обозной телеге!

— А у меня талисман есть! — вспомнил вдруг Сапрон. — Вот я и живой остался.

Он отыскал в вещевом мешке пыльный кисет с куриным пухом в черных крупинках засохшей крови — надо перед боем бросить из окопа две-три пушинки вперед, и тогда можно смело идти в бой. И всегда вернешься из боя живым!

— Где же ты взял эту штуковину? — ревниво спросил Игнатыч, не решаясь потрогать открытый кисет, из которого воняло чем-то приторно-деревенским.

— Колдунья наша, бабка Пияха, дала перед тем, как мне пойти пешком на призывной пункт.

Повар как-то сомнительно крикнул, покачал головой.

— Только я всегда забывал про этот талисман, хотя и не выбрасывал его и не терял... — промолвил задумчиво Сапрон. — Я просто чувствовал, что он у меня есть.

Игнатыч усмешливо погрозил ему пальцем и предложил выпить из фляжки хорошего спирта.

## МАНЯ

В мае сорок пятого Сапрон привычно брел по Берлину вслед за полевой кухней. Лошадь Маня везла на колесах кухню, в котле на ходу варилась каша, из маленькой трубы вился дымок. Маня вздымала ранеными, в шрамах, боками, тюкала по брусчатке стертymi подковами, высекаящими искры. Привыкшая к грунтовым дорогам, лошадь оскользнулась на выпуклых камнях мостовой и, как пьяная, заваливалась набок, выворачивая с хрустом оглобли.

Повар, сидевший на облучке, надувался всем своим красным лицом, рот его недоуменно приоткрывался, жидкие усы еще сильнее отвисали. Сапрон, шедший рядом, поддерживал оглоблю, устанавливая лошадь в походное положение.

Маня любила Сапрона. Он косил для нее по иноземным опушкам сено,

подкармливал хлебом из пайка. Маня с благодарностью поглядывала на него слезящимся раненым глазом, из которого недавно вынули осколок. Глаз ослеп, повару приходилось подправлять движение животного — он резко дергал левой вожжой: иди прямо, черт глупая! Маня дергала контуженой головой, бормотала что-то отвислыми губами, горевала о сыне-жеребенке, погибшем в уличном бою...

Берлин в развалинах, но повар Игнатыч не обращает на чужой город никакого внимания, подбадривает плетущуюся лошадь:

— Шагай, Маня, веселее, скоро закончится наш поход! Тпру-у! Передышка!..

Повар остановил несчастную лошадь, дал ей горбушку хлеба.

Лошадь нехотя, словно бы по обязанности размеренно двигала челюстями, выступающими сквозь кожу, из-под желтых зубов на брусчатку сыпались крошки.

— Но! — поехали дальше. Игнатыч дергает то и дело правой вожжой.

— Да иди же ты ровно, Манька! В Берлин придем, у фуражира ведро овса для тебя выпрошу. Да что там овса — пряников трофейных раздобуду, ты только держись, родимая... Победили, Маня, разве ты не видишь? Теперь всем надо жить, никуда не денешься!

Повар покосился на какого-то солдата, присевшего на ступеньку сзади котла:

— Слез бы ты, парень, да пешком прошелся, не видишь, скотина болеет!

— Я в ногу ранен... — ворчит солдат, однако спрыгивает, идет, заметна прихрамывая.

— Все мы раненые! — Повар теперь и сам идет пешком, жалеет Маню, усы его еще больше отвисают, в них также заметна усталость.

— Давно ее пора на котлеты! — ворчит хромой пехотинец. — Даже в колхозе таких лошадей не держат.

Колеса кухни мягко подпрыгивают на брусчатке мостовой.

— Я вот тебе дам котлеты! — сердито оборачивается повар, желтые усы возмущенно топорщатся. — Эта кобыла со мной полвойны прошла. — Сначала Дуню, первую лошадь, бомбой убило, потом Глашу пулеметом скосило, Тереза на mine подорвалась, а эта, Маня, везучая оказалась, от самой Беларуси котел везет!

Повар и сам понимал, что не годится Маня для работы, однако он привык к ней и жалел ее. Повар и Сапрон по Берлину топали пешком, давая Мане отдых, а когда дорога шла в гору, подталкивали полевую кухню.

Маня благодарно озиралась на них здоровым глазом, она их тоже любила. Лошадь повеселела, когда вошла на улицы Берлина, она словно бы чувствовала приближение итога своей жизни. Маня слабела с каждым днем, Берлин был ее последним взятым городом, а дальше, известное дело, — в котел, который она провезла через всю Европу... Перед тем, как отвезти Маню в развалины, где знакомые солдаты за магарыч, обещанный Игнатычем, должны били забить ее и разделать на мясо, Сапрон обнял лошадь за шею, уткнув лицо в пушистую гриву, искрящуюся седыми волосками. На единственном глазу Мани пузырились желтые слезы, будто она все понимала. Лошадь покорно встала возле обрушившейся разбомбленной стены, пахнувшей жжеными кирпичами, и на какой-то момент гордо вскинула голову, оглядывая развалины Берлина.

Молодой солдат вскинул винтовку.

Сапрон закрыл лицо ладонями и слышал только выстрел, затем шум падения на землю конской туши, скрежет копыт о булыжную мостовую.

Бойцы с удивлением смотрели на великана в помятой шинели, который плакал по Мане как по старой фронтовой подруге. Игнатыч с горя напился в стельку, Сапрон кое-как сварил кашу, сам раздал ее солдатам. В отдельном большом котле, раздобытом бойцами, варились куски свежей конины. Духовитый мясной запах потек по улицам разбитой столыцы.

Женщина без возраста подошла, поклонилась могучему с виду Сапрону, как самому большому, затем повару и даже к новой лошади — мерину Карлу. Во взгляде ее были страх и скрытая бытовая ненависть. Видно было, что голодна. Двое детей, шедшие рядом с ней, поправили аккуратные кепочки, подошли к котлу, протянули ладони, попросили «кусочек пферд ам-ам». Солдаты поделились с беженцами мясом и кашей. Ни Сапрон, ни Игнатыч мясо от Мани есть не могли, «душа не принимала».

Наступал вечер, где-то за углом пиликала грустно гармошка, на площади басил трофейный аккордеон. Сапрон озирался: неужели это Берлин? Он думал, что они придут в более или менее сохранившийся город, но Берлина почти не видно — вокруг развалины, догорают резина и дерево, блестят осколки стекол, дымятся кучи битого кирпича, ни проехать, ни пройти. Зато чувствуется запах цветущих кустарников, точит нос едкий кислый дым. В синем тумане краснеют под солнцем необозримые, словно пустыня, руины. Уцелевшие дома выглядят мертвыми, жители возвращаются в них с опаской, по ночам кругом тишина и темнота, кое-где на кострах местные жители варят себе еду.

## АМЕРИКАНЦЫ КАК АМЕРИКАНЦЫ

Сапрон впервые увидел их возле реки. Целая делегация приехала погулять и отведать русского угощения. А наши до этого у них побывали. Обычный солдат в белой каске со звездой на рукаве, улыбается, показывает на значок — через переводчика объясняет, что за первого убитого немца дали. Сапрон кивает, говорит, что у него много медалей в вещмешке, он их не носит, потому что занят кашеварством, все свои награды хранит про запас. Вот приедет в родную деревню, наденет ради встречи с родней!

И солдаты и офицеры американские одеты в одинаковую форму, никакого у них особого чиновничества нет. Все сфотографировались на фоне плаката «*Tod den Russen*».

Американец снял белую каску и сделался обыкновенным чернявым парнем, военная форма его стала похожа на комбинезон механизатора. Ничего особенного, люди как люди, хоть и американцы, из-за океана приехали Гитлера добывать. Ну, помогли чуток, молодцы!

## БДИТЕЛЬНОСТЬ

Пришел парторг полка майор Недосонов — читать лекцию на тему: «Правила и нормы поведения советского воина в логове фашистского зверя».

— У вас, товарищи победители, налицо притупление бдительности, но явно не притупление этой штуки, которую пока надо держать крепко застегнутой в ширинке... Вы уж, товарищи, аккуратней, пожалуйста,

с разными шлюхами, среди которых попадаются русскоговорящие — они могут быть шпионками!

Лейтенант Иванов, полковой поэт, тут же сочинил по этому поводу стих:

Польки, немки, болгарки, чешки  
грызут сладкие орешки.

Немки, болгарки, чешки, польки  
облизывают апельсиновые дольки.

Болгарки, чешки, польки, немки —  
красивые для нас туземки.

Чешки, польки, немки, болгарки, —  
дни, проведенные с вами, жарки!..

— Один командир хозчасти разбазаривал армейский паек ради своей немецкой фрау! — продолжал Недосонов читать заметки из блокнота. — Этот гусар пойдет под трибунал. Потом участились отравления спиртом подозрительного качества. У вас, братцы, сейчас, я понимаю, наличествует жажда пить все подряд, праздновать дни напролет и бесконечно победу. Но помните — немцы приготовили для вас запасы метилового спирта. Объявляю приказ: запретить пользование трофейными жидкостями противника. Бойцы, недавние герои, продолжают травиться спиртом, гибнут позорной смертью. Это преступление перед Родиной, армией, семьей! Приказ такой: покончить с благодушием и доверчивостью!

— Товарищ политрук, что ты нам теперь тут лекции читаешь? — сделал свое замечание повар Игнатыч. — Все немецкое мне противно, и всякий ихний предмет мне одним своим видом душу наскрозь жжет! Моя ненависть к немцам, проживи я хоть тыщу лет, не изменится!

— Темный ты человек, товарищ повар! И несознательный как боец. Красная Армия умеет мстить организованно в масштабе наступательных операций. А индивидуальная месть советскому солдату противопоказана. Мечь — это, пожалуйста, на поле боя. А здесь, среди народа, пусть даже и чужого, пусть пока еще враждебно к нам относящегося, прошу товарищей бойцов вести себя благопристойно и с нашим полным достоинством!

— Они мою семью убили, расстреляли нарочно, в ходе зачистки, — твердит Игнатыч. — Я бы их здесь сейчас тоже убивал бы всех и каждого... Да разве подыметя на это моя крестьянская рука?.. А тоска-то она для каждого человека на всем белом свете одинакова...

Красное пухлое лицо его все в слезах, из-под засаленной пилотки выбивается седеющий чуб, усы тоже поседели за годы войны, висят веревками.

— Не позорь имя советского человека! — сердито смотрит на повара политрук Насонов. — Не говори такие мысли на собрании и воздерживайся от прочих высказываний! Ты солдат или не солдат?.. И вообще, успокойся, все позади...

— Не могу молчать... Хоть вот сейчас перед вами, товарищи, сердце облегчу проклятием своих слов!.. Горит ненавистью мое сердце к зверям... — Он достает фотографию — мятую, в трещинах, — это его погибшая семья. — За хату мою бедную, за Родину, за мать и сестру, за убитых товарищей, за кровь и раны наши, за искалеченную жизнь!.. Не ругайся, политрук, не буду я никому мстить, не буду позорить свой народ и Красную Армию... Читай дальше свой доклад!..



## ДОПРАЗДНОВАЛСЯ...

Сапрон выпил с ребятами из хоззвода стакан трофейного спирта, пришел в разбитый гараж, где временно располагалась кухня, лег на солону и заснул. Он не знал, что спирт отравлен, и потому сны его были дурные и тяжелые.

Вдруг услышал звуки духового оркестра, голоса:

— Что это там такое грустное пиликает? — спросил он, не открывая глаз.

— Гимн США разучивают! — ответил кто-то.

— На хрена он вам сдался?

— Завтра американцы приедут, водку с ними пить наши офицеры будут.

— Я видел недавно двух в комбинезонах, пилотки заткнуты за пояс. Жевательной резинкой угостили.

— Ну, и как резинка, вкусная?

— Сладкий презерватив. Я пожевал немного для вежливости и выплюнул.

— Говорят они, американцы, торопились, проходили в день по сотне километров, чтобы первыми взять Берлин.

— Политика, едрит ее бабку! Немцы готовы были сдаться американцам, лишь бы не нашим только.

— Жукова не проведешь — сходу ночью ударил по Берлину, и логово Гитлера мы захватили первыми!

— И правильно сделал, иначе бы весь Берлин и половина победы достались бы союзникам...

Голоса пропали, Сапрон видит какие-то искры, чувствует, что его толкают, пытаются разбудить.

— Что с этим великаном?

— Не видишь, пьяный... Очнись, дядя!

Сапрон мычит, голоса нет.

— Да он, наверное, спиртом траванулся, многие, кто склады с бочками грабил, тоже отравились.

— Почему же ты не отравился?

— Я трофейную гадость не пью.

— А что же пьешь? Россия далеко, самогонку здесь не найдешь.

— Пью то, что можно добыть с наших армейских складов, в этой неразберихе спиртного вообще не пью. Если победа, то, значит, давай глотать всякую гадость? Вас же, дураков, предупреждали: не пейте! Ничего здесь не пейте!

Сапрон встает с охапки соломы, лица перед ним мутные, двоются.

— Игнатыч?

— Твой Игнатыч кашу варит, остаток конины раздает... А тебе, парень, не к повару надо, а в медсанбат.

Сапрон мычит, мотает головой — встает с соломы:

— Что со мной?

— Траванулся ты. Тебе повезло — живой. А трое ребят из хоззвода, с которыми ты пил, отбросили коньки. Завтра хоронить будем с почестями.

Сапрон в полусне идет к Игнатычу, перед глазами все предметы двоются.

— Игнатыч!..

— Что, Игнатыч?.. Где, бедолага, шляется? — Повар, прищурившись,

смотрит на него, вытирает руки о грязный фартук. — Я сам дрова таскал, сам колот, сам печку растапливал... Опять напился?

Сапрон прикладывает дрожащую ладонь к груди — сердце будто в липкой глине ворочается, в глазах пятна и полосы. Все предметы размыты.

Повар, заметив пену, выступившую на губах помощника, спохватывается.

— Ты либо плохого спирту выпил? Ах вы, балбесы! Немцы специально для вас его отравили, а вы все равно пьете... Иди сюда...

Игнатыч открывает обитый железом ящик, где хранятся под замком специи, достает канистру, отливает чистый спирт в кружку, швыряет туда каких-то порошков, подает Сапрону: пей!

Тот машинально выпивает, удивляется остатками отравленного ума: почему повар дал ему спирт?

— Так надо! — Повар мысли его читает. — Отравление спиртом всегда лечится.

Наутро Сапрону получшело, он уцелел, потому что выпил всего лишь стакан немецкого спирта, а то бы тоже капут.

Последние полгода Сапрон совсем не писал писем домой. Боялся, что его убьют, а родные будут думать, что он жив. И вот те на, чуть не умер от спирта, мать его растак!

## КАРЛ

После того, как оплакали и съели лошадь Маню, которая от самого Минска тащила полевую кухню, солдаты поймали на окраине Берлина здоровенного немецкого битюга. Чтобы таскал полевую кухню вместо Мани. Повар сразу невзлюбил Карла — так называли битюга.

— У-у, гада фашистская! — ругался на мерина по поводу и без повода.

Карл гордо вскидывал большую голову, перетерпывая оскорбления и привыкая таким способом к русскому языку. Сапрон несколько раз заступался за беззащитное животное, опасаясь, что напуганный гигант взбесится и растопчет походную кухню:

— Не ругай его, Игнатыч! Он не виноват, что здесь родился... Видишь, он плачет!.. Пойми, ведь он не фашист, а просто мерин. Он теперича нам служит. Хочешь, назовем его не Карлом, а Кирюшей!

— Какая на хрен разница, пусть остается Карлом! — повар переставал сердиться, выпивал стопку спирта, задавал мерину ведро овса. — Лопай, черт лохматый! Мне зерна не жалко. Это запасы твоего друга Гитлера... Сейчас бы в наш колхоз этот овес, там, пишут, сеять нечем... Братья мои на фронтах побитые, один я остался, в Берлине вашем проклятом кашу варю!..

К кухне слетались безымянные немецкие птички, тихо и робко пищали, словно тоже чувствовали себя в чем-то виноватыми. Сапрон приносил птичкам в котелке крошек. Душа бывшего разведчика томилась чем-то непонятным, какой-то огромной и странной болью.

Несколько суток подряд после победы Сапрон не мог спать, все это время он с грустью думал об умершей от голода матери, которая умерла и которую он навсегда запомнил живой.